

Юз АЛЕШКОВСКИЙ*

Смерть Ленина. Рассказ из книги «Пулоприпуло» (пункт по приему пустой посуды)

На мой суровый взгляд, сдавать пустую посуду весьма приятно в одном лишь единственном случае: когда ты уверен на все сто процентов, что у тебя ее примут. Если же в состоянии тяжкого утреннего похмелья, постепенно переходящего в мучительное дневное, уверенности у тебя стопроцентной в этом нету, то жизнь твоя — как, впрочем, и жизнь всей длиннющей очередищи к пункту приема пустой посуды — превращается в пытку адского ожидания и зверского, при всей его скрытости, протеста против мелкого свинства нашего времени.

Человек с обостренным душевным слухом улавливает тогда в каждом соседе по очередище как бы надтреснуто-жалобное звучание всей его нервной системы, вновь подвергающейся утон-

* *Юз Алешковский* (наст. имя — Иосиф Ефимович Алешковский; р. 1929) — русский прозаик, поэт и сценарист, автор-исполнитель песен. С 1979 г. живёт в США.

ченному измывательству со стороны торговой сети бесчеловечного государства.

Разумеется, нервишки шалят у всех по-разному и в строгом соответствии с оригинальностью каждой отдельной личности. Причем не следует забывать, что похмельное состояние как бы оголяет любого человека перед собственным его испытующим взором, независимо от того, какой именно натуре принадлежит взор — художественной, например, увлеченной и развязно болтающей или же натуре, крайне подавленной всеми без исключения обстоятельствами вынужденного существования на Земле, а потому и размытой на фоне алчущей толпы до удручающей незаметности.

А ежели открывается в тебе вдруг ни с того ни с сего бесстрашие воспринимать в положении ближнего нечто невыносимое, то, что непьющие специалисты весьма приблизительно называют трагическим, то каких только борений человека со своей совестью и с Роком ты не будешь свидетелем. Только боязнь, что разрыдаешься ты неудержимо от новых подробностей чьего-либо низкого падения и вчерашнего пресмыкательства перед змием всесоюзного алкоголизма, что взвоешь внезапно от того, что делает с собой человек ради губительной страсти к выпивке и кого он в себе при этом непременно губит, что взвоешь, и вызовут «скорую», и увезут в психушку, несмотря на бешеное твое сопротивление и нежелание оставлять неизвестно какой сволочи пару авосек пустой посуды, — только эта боязнь удерживает тебя от пылких жестов и безумных высказываний.

Так вот, в тот самый день все мы — человек сто, если не больше, — уверены были вполне, что каждый из нас вскоре воспрянет в самозабвенном полете, что в руках у каждого, отягощенных унылым грузом пустых стекляшек, вдруг объявится крылатая легкость и закипит в страдающих организмах юношеская страсть к достижению самой нелепой цели.

Очередица двигалась быстро, походя, возможно, на фантастическую рептилию, смердящую изо всех своих пор зловонной сивухой и многогласо гудящую, поскольку надежда сдать вот-вот пустую посуду прерывала угрюмое молчание живых страждущих звеньев, вынужденно соединенных в эту советскую гидру.

Живые звенья, то есть мы, при движении к желанному провалу в подвал поднимали и вновь ставили на место разные сумки, авоськи, мешки и даже ящики, так что извивающееся существо очередици неумолчно позвякивало, тренькало, скрежетало и издавало иные, зачастую омерзительные акустике и атмосфере, порошне-стеклянные звучания.

Конечно же, передних, как всегда, распирало от недостойных чувств самодовольства и превосходства. Задние же нескрываяемо изнемогали от зависти, а порою и от более сильного и низкого чувства. Слова для него вы никогда не отыщете ни в одном словаре, потому что само это чувство присутствовало во всех без исключения живых тварях лишь на заре так называемой эволюции, когда языков никаких не существовало, но лишь оглашал старшие окрестности Творенья звук утробного ужаса перед развитием.

Живые твари бессознательно чуяли полную историческую невозможность возвращения в лоно Предвечного, но одновременно, преодолевая ужас перед развитием, стремились — бессознательно же, разумеется, — продвинуться куда-то вперед, хотя неведомо, куда именно, и неизвестно зачем. То есть в живых тварях наблюдалось вечно смущающее всех мудрецов явное желание содействовать прогрессу, подпорченное тем самым отвращением к эволюции, иначе говоря, к стоянию в очереди за прогрессом, а еще точнее говоря, подперченное безумным страхом перед Временем.

Позднее прогрессивные философы внушили полностью якобы просвещенному человечеству идею насчет светлого будущего, построить которое следует своими руками. Тогда, но никак не раньше, прекратится стояние к нему в тоскливой и недостойной гордого человечества очереди.

Как известно, советская наша власть первой совершила гигантский революционный скачок из мрака необходимости к царству свободы, или, как сказал бы ироничный обыватель, схимичила дефицитного прогресса без очереди.

Но, схимичив весьма, признаем, удачно, что-то такое совершила советская власть с болезненным от рождения, бедным и почти беззащитным организмом Общества, что моментально поперлось оно, подгоняемое сворой партийных шакалов, вспять по лестнице эволюции, взад очереди Истории.

В прежде приличном, хотя и несовершенном Обществе проснулись невероятно ужасные чувства, сдерживаемые подчас в людях, убивающих время в очередях, исключительно страхом перед тюрьмой, то есть возвращением в бесчеловечное рабство ко Времени.

Не могу не вспомнить тут об одном мужичишке, спокойном на вид гражданине неалкоголического типа, явно никогда не пропивавшем в отчаянные минуты верхней одежды и честных наград войны.

Огромное количество пустой посуды он приволок на санках, занял очередь, подождал пару минут следующих каких-то ханыг, подобострастно предупредил, как водится в порядочных очередях, что спешит на работу на автобазу и вернется вскоре на своем гру-

зовике. Добродушно сообщил, что три дня гуляли свадьбу Нюрки с «пилотом наружной авиации». Совсем уж доверчиво добавил, что «поправиться у компании нету ни капли», и в чудесном расположении духа поканал на автобазу.

Я и мой друг Паша, физик по образованию, стояли слегка впереди того социально-аккуратного мужичишки-шофера. С нами было двести семнадцать бутылок разного калибра, после дня рождения Паши, на котором, не без невинных безобразий, славно попьянствовало не менее ста пятидесяти человек.

Пока мы туповато поддерживали меркнущие сознания попыткой разобраться в том, что такое «наружная авиация», мужичишка действительно вернулся на рабочем грузовике. Первым делом он бросился к двум ханыгам. Страстно попросил опознать его: «Я давеча убежал на автобазу... Перед вами стоял, земляки...» Многие задние люди, как бесчувственные и замкнутые сами на себе звенья рептильной очереди, гнусовато и лживо забазлали: «Тут всякие давеча убежали на автобазу...», «Я твоего заявления тут сроду не замечал...», «Мы таких видали и знаем, у нас этот номер не пройдет...», «Если б каждый вроде тебя уходил, то и очередей в стране не было бы, а все являлись бы к сдаче посуды в положенный срок...» — «Земляки, я вам Христом-Богом клянусь, совесть не даст соврать: занимал. Вот за этим, с фингалом, и за тем вот, небритым, занимал. Он еще картавил... “скогей пгиходи, на хег ты сдался стоять тут за тебя?”» — «Не помню», — жестоко ответил картавый, а тот, который был, по мнению мужичишки, с фингалом, заезуитствовал: «Во-первых, это не фингал, а почки с похмелья тормозят водянку, а во-вторых, никуда ты не отходил, потому что ты сюда и не приходил...»

Никогда не забуду выражения лица того мужичишки. Сначала он густо покраснел от беспомощного, но яростного стыда за лживое человечество, как бы даже позабыв о своих персональных заботах. Затем мгновенно побледнел, словно человек, выслушавший смертельный приговор, весь жуткий смысл которого с запозданием пронзил его душу. Побледнев, тихо сказал: «Земляки... вон ведь и саночки с посудой... меня компания ждет... Так не-е-ель-зя...»

Мы с Пашей бурно стали доказывать всем опустившимся социальным уродам, что мужичишка стоял и уходил, что все мы, так сказать, стоим, уходим, а потом приходим и не хера тут зловердно выкаблучиваться...

«Земляки, нету саночек», — возопил вдруг мужичишка. Нервически и бесполезно посповав по окрестностям приемного пункта, он с тою же странной обескровленно-стью на совершенно по-детски обиженном и поистине растерянном лице повторил: «Саночек-то

нету, земляки...» «С того бы и начинал, ботинок хуев», — сказал картавый, мстительно подбирая слова без рычащих согласных. «Прохиндеев с утра — ну просто как грибов», — высказался тип с синими мешками под глазами. «Так нельзя», — рассудительно, но с глубочайшей обидой повторил мужичишка, обращаясь уже не к безобразно жестокой очередице, а как бы к Высшим Силам, отвлекшимся по каким-то причинам от наблюдения за порядком и справедливостью в нашей очередице. «Так нельзя», — с пафосом, весьма странным для человека простого, убежденно повторил мужичишка, после чего куда-то сгинул.

Не буду уж тут описывать, какая тупая тоска объяла ряд нормальных, совестливых, но бессильных чем-либо помочь несчастному душ.

Принявшие же участие в травле завели вдруг весьма энергичные разговоры об ужасах раскулачивания, о ежовском терроре, о язвах и ранах войны и о незабываемых мытарствах в эвакуации... Всеми этими охотными мемуаризмами травители и обидчики, скорей всего бессознательно, внушали себе и нам, что в жизнях ихних, а соответственно и в истории нашей многострадальной сверхдержавы, были такие моменты, по сравнению с которыми какие-то паршивые саночки с пустой посудой и шоферишкой-прогульщиком — это все равно что лишнее перо, выпавшее вдруг из куриного гузна по каверзному своеволию природы.

Очередица тем временем двигалась, доводя чуть ли не до экстаза благодушия всех находящихся в предельной близости к провалу в подвальное чрево и скромно подбадривая только что пришедших бедняг, угрюмых еще от скопления в сердцах утреннего отчаяния.

Живые, изнемогающие от безденежья и сужения сосудов звенья очередицы продолжали звякать передвигаемой и переносимой посудой. Лучше уж было не прислушиваться к этому во всех отношениях невыносимо разлаженному звучанию жалкого стекла, в унижительной зависимости от которого вынуждены находиться и издерганно-гордые, и привычно-непритязательные личности.

Мой друг Паша, удрученно молчавший после душераздирающего происшествия с мужичишкой, вдруг шепнул мне чистым, горячим шепотом похмельной молодости: «Все... больше не могу... надо что-то делать... мы не умеем ни принимать самостоятельных гражданских решений, ни сдать по-человечески посуду... второй час стоим... подлое блядство...»

Я, как обычно, беззлобно поддразнил моего друга, дедушка которого принимал самое активное участие в революционной деятельности ленинцев, мечтавших превратить всероссийский грязный бардак в царство социального благополучия. Стоять нам

оставалось минут пятнадцать. Мы явно успевали, сдав посуду, купить водяры, пивка и пельменей до закрытия «кишки» на обед.

В этот момент очередица драматически разволновалась. Пронесся слух, что не принимаются бутылки из-под шампанского с цимлянским и майонезные баночки.

«Тара кончилась... Тара кончилась... Тара кончилась...»

Очередица конвульсивно подперла к дверям приемного подвала. А подвал изрыгнул из себя пару изнемогающих от ненависти ко всему белому свету неудачников. Они больше не являли собою, как десять минут назад, самодовольных фигур жизненной удачи. В руках у них раздражительно позвякивали несданные крупные бутылки ценою по семнадцать копеек, а у одного за спиною, как какой-то неорганический и вовсе чуждый человечеству Черт, расположился здоровенный рюкзак, распираемый проклятыми майонезными баночками. Расположился и мелко бесил человека невозможностью скрыть от окружающих и от самого себя образ предельной бедности, который связан в умах поголовно всех обывателей сверхдержавы с собиранием, накапливанием и сдачей именно этих мизерных, оскорбляющих последние твердыни человеческого достоинства майонезных баночек...

Кстати, редчайшим видом социального, нравственного и даже художественного падения считается в народе сдача взрослым, пьющим человеком мешка бутылочек из-под разных лекарств, редких в нашей стране соусов, многочисленных ядовитых бытовых жидкостей, а также из-под лосьонов, духов и одеколона. Да и принимают эту посуду где-то в местах, ни разу не попадавших на глаза ни мне, ни моим знакомым, но, однако, существующих в природе общества, которое, по слухам же, скоро напомогает народно-освободительным движениям и диким, возникающим при успехе этих движений тираниям до того, что простому населению дана будет возможность сдавать не только мизерные бутылочки, но и спичечные коробки. ПУПОПРИСПИЧКО от населения... Это выглядело бы достаточно завершающе для сверхдержавы, находящейся, по убеждению отдела пропаганды ЦК КПСС, в первой фазе коммунистической формации.

В очередице вдруг начались назидательные изменения. Некоторые, бывшие первыми, стали последними, поскольку нагружены были шампанской, цимлянкой, сидровой и еще какой-то импортной посудиною. Бывшие же последними, естественно, стали первыми. Приспальный наблюдатель мог бы отметить при этом, что душевно-физиогномический такт, проявленный как теми, так и другими при сдержанном сокрытии чувств мелкого торжества и раздражительной ярости, достиг поистине героических высот.

Все мы несколько притихли перед всеустрашающим явлением мутного призрака социально-бытовой справедливости, затем бурно разговорились, как это случается в очередищах подобного типа. Сей феномен всегда доказывал лично мне, что советская очередьща, где бы и по какому поводу она ни возникала, безусловно, являет собою глистообразный зародыш сверхкоммуникативного монстра, состряпанного мстительной историей для фантастического будущего Сверхдержавы, а возможно, и всей нашей планеты.

Говорили мы невпопад. Каждый старался искреннейше выложить либо набольшее на душе, либо запекшееся в похмельном мозгу. Не принимали участия в разговоре лишь горестные женщины разных возрастов. Это были близкие родственницы тех, кто пропил каким-то образом весь семейный достаток, оставив ближним надежду на выживание до полочки в виде чекушек и поллитровок.

Тема бесконечной и поголовной униженности советского человека, словно молниеносная гангренозная зараза, охватила вскоре почти все живые звенья нашего извивающегося на тоскливом пустыре алчущего чудовища.

Серовато-синеватые прежде лица пропойц и просто озябших бедолаг оживленно раздумянулись. В мутных глазах появился если не свет мысли, то приблизительно человеческое выражение. Оттянутые посудной тягомотиной руки вскинулись в жестах горячей помощи еле ворочающимся, обезвоженным языкам. Кто-то даже запел ни с того ни с сего далекую от темы разговора «отвори па-атихонь-ку ка-алитку-у...». Кто-то предложил категорически расстреливать приемщиков посуды за необеспечение болгарского и венгерского сухарика надлежащей тарой. Какой-то умник заявил, что очереди возникают не от недостатка различных продуктов или же нерасторопности торгово-снабженческой сети, а от переизбытка времени у населения. «Время у тебя есть. Потому ты и стоишь тут. А не было бы — так и не стоял бы, а находился в другом месте. Захавались вы тут, как взгляну я на вас после червонца разлуки, сухой мне быть...» «Позвольте, — возразил мой друг Паша, — зачем распространять философию тюрьмы на проблему прав человека? Мы все-таки еще на воле». «На воле ты был, пока папа маме палку не кинул, — мрачно сказал философ тюрьмы и вечной ночи, — а как, извините, кинул папа маме палку, так ты и проканал из свободного живчика в кандей жизни. Вновь расконвоирован будешь лишь в гробу. Не ранее...» «Такие, как вы, — гневно крикнул Паша, — превращают борьбу за права человека в борьбу за права трупа...» «Только не оттягивай... не оттягивай... я уже и так оттянут, как ишачий член», — отмахнулся

бывалый и, судя по всему, безнадежно исправленный советской тюрьмою человек.

Затем все мы прислушались к замечательному рассуждению неплохо одетого гражданина о том, что в большой очереди необходимо видеть кроме социальной шкуры ее, так сказать, духовное нутро. То есть, настаивал гражданин, на Западе, где он неоднократно бывал до «известного момента катастрофы в карьере», ему буквально ни разу не приходилось наблюдать такого вот качества общения самых разных типов, причем не знакомых друг с другом, общения полностью братского и не сдержанного всякой сословной и снобистской пакостью.

— Западное общество предельно атомизировано, — страстно убеждал скорее себя, чем нас, человек, переставший быть выездным, — и вы на каждом шагу сталкиваетесь с тем, что вас как бы вовсе не замечают. Захожу однажды с похмелья на Гранд-Сентрал. Это в Нью-Йорке вокзал типа нашего Ярославского, только поменьше и погрязней. Иду в сортир отлить...Захожу, принимаюсь за дело нужды, то есть собираюсь приняться, одновременно гляжу вокруг, как русский человек с широкой открытой душой, желающий разговориться в праздной паузе жизни с себе подобным организмом. Организмов рядом штук семь, черных и белых. Радужно говорю, по-ихнему, разумеется, и ко всем обращаясь, что-то насчет вчерашнего бейсбола... Ледяное молчание в ответ... Даже головы ко мне никто не повернул, что немислимая вещь при затравке самого ничтожного разговора в любом нашем советском сортире. Ледяное молчание... И я думаю: а есть ли ты на свете, Игорь Матвеич? Или призрак ты своего чересчур вспененного пивом сознания?.. Может ли быть в сложном современном мире большая близость, чем близость доверительно друг перед другом мочащихся мужчин, когда руки у них заняты, а языки полностью свободны для борьбы с похмельной тоскою?.. Не может! А они молчат. Нулевая реакция. Возможно, не расслышали вопроса? Или только показалось, что задал я его? Бывает всякое с того же похмелья. Бывает, тебе кажется, что наговорил ты начальству с три короба объяснений, а впоследствии, на товарищеском суде, оказывается — ты лишь стоял, ковыряя в носу и опоздав на два часа, но слова ни одного не вымолвил... «Хирса» московского розлива отшибает у нас одну из сигнальных систем. Одним словом, высказался я — в порядке приглашения оправляющихся организмов к задушевности — насчет бума на бирже и плохой работы полиции в सबвее. Это метро... Ледяное молчание... Бесчувственное, эгоистичное журчание отчужденных струй. Для каждого, чую, его унитаза гораздо родственнее живого соседнего человека... Плевать, думаю, на вас, сволочи.

Я в виде протеста даже оправляться не буду, а поговорю сам с собой... у советских собственная гордость, так сказать, мы умеем в решительную минуту испепелить буржуа свысока... ебал я ваш Бруклинский мост и высокий жизненный уровень... Ну и заговорил сразу на двух языках... Думаете, арестовали, как восемнадцать суток тому назад? Нисколько... Носом никто не повел в мою сторону. Нет меня... Пустое вопящее место... Тут я форменно взвыл от страха одиночества. Хватаю какого-то мистера за грудки, застегнуть ширинку ему даже не дал, хватаю и с надрывом вопрошаю: «Ты меня понял?.. Ты понял меня, техническая цивилизация ебаная?» Естественно, падаю без сознания, потому что все они владеют боксом с самого детства. Думаете, забрали?.. Растормошили? Думаете, сунули в сморкало пронзительного нашатыря или тыкнули в толчок головой и спустили воду, как это дважды случилось со мною — в Москве и Тамбове? Нет... Так и валяюсь в сортирной пустыне, а подняться смущаюсь, поскольку предельно унижен непредвиденным обстоятельством иностранной действительности... Валяюсь и трясусь в рыданиях, уткнувши физиономию в габардиновый рукав макинтоша... Ни вопроса, ни расспроса, ни мимолетного интереса к человеку, все же поверженному и не имеющему сил встать с кафеля, я не дождался. Зато не раз чуял, как лезут в карман ко мне разные руки. Ошмонать пытаются и стырить деньги с документами. Не тут-то было, думаю, советский человек — не мудака манхэттенский. Он портмоне на груди носит... Затем встаю... Народу в сортире полно, но — ледяное молчание с торжеством прочих звуков над личностью человека... Можете поверить: из презрения я так и не оправился, хотя впоследствии оказалось, что просто-напросто обоссался... Иду в ООН. Там с опозданиями не так строго, как у нас... неважно где... По дороге лезу в карман... и что бы вы думали?

— Подтирки наложили, — быстро ответил кто-то из больших знатоков человеческой натуры.

— Ошибаетесь. Я сам сначала так подумал. В кармане моем были доллары. Сорок семь долларов различными купюрами, но не выше пятерки.

— На пару бутылок, — подсказал все тот же бойкий эрудит.

— Ошибаетесь, товарищ. На десять бутылок «Смирновской» или на четыре приличных «гуся», то есть полугаллона виски. Не выдержав напряга внутренней жизни, принимаю оперативное решение опохмелиться, а затем уже заявиться в ООН. Захожу в кафе. Беру даблу-скотча с темным пивком «Гиннес» — расширить сосуды по-ирландски...

— А закусь? — сдавленным от аппетита и жажды шлепнуть рюмашку голосом спросил кто-то.

— На Западе большинство следящих за собой людей не закусывают по разным пустякам, а только опрокидывают, зная меру. Одним словом, успокаиваю душу. Успокаиваю еще раз. А разжевать не могу даже соломку с солью: скула онемела, и челюсть с челюстью не сходится. Там стараются с ходу бросить тебя в нокаут, чтобы ты не рыпался добавочно, а если стреляют в кого в порядке самозащиты, то стремятся не ранить тебя как-либо, а укокошить, потому что, очухавшись, ты найдешь адвоката, и уж адвокат докажет, что не ты нападал, но на тебя напали, ранили и лишили возможности ходить на работу. И присудят тебе с полмиллиона, когда не больше, компенсации за ранение. Покушавшийся же на тебя в порядке самозащиты господин будет мрачно оплеван либеральным общественным мнением как убийца социально-обездоленной молодости. Но дело не в этом... Опохмеляюсь, и снова пронзает меня тоска. Мало, думаю, того что вы игнорировали мой порыв по-человечески разговориться при оправке, когда у каждого есть минутка абсолютно свободного времени, но вы повергли советского человека на кафель, а затем откупились от него сорока семью долларами... Вы от всего откупаетесь, но вас тем больше ненавидят, чем щедрей, мудаки, относитесь вы к замурзанным мурлам третьего мира... Мы же вот — полмира отхряпали, нужду несем освобожденным от нас народам, шпионим где попало, террором занимаемся среди бела дня, а нас к тому же еще и любят, и уважают, и трепещут, не крадут и не подстреливают. Вот как мы себя умеем поставить при расстановке сил на мировой арене... Я слова от вас хотел живого в период резкого сужения сосудов и вдали от Родины, а вы презрительно помилосердествовали, падлы захававшиеся, на Уолл-стрите... А мне чего надо было? Мне всего-то надо было, чтобы я в сортире сказал вдруг с глубоким чувством личной тоски и боли за весь мир во всем мире: «О-ой, блядь... о-о-ой!!» — а ты бы мне с пониманием момента ответил бы всего-то-навсего: «Мнн-да... бывает», — и я бы на все враз плюнул за такую твою спонтанную солидарность. Я бы кассу взаимопомощи обокрал и расстался бы с кольцом обручальным навек, что не раз уже со мной бывало здесь, среди вас, товарищи...

Все мы как-то почувствовали, что рассказчик близок к нервному срыву. Руки у него дрожали, а потому и звенела жалобно в авоськах пустая посуда. Кто-то со вздохом, сопутствующим обычно тяжким борением человека с косным природным жлобством, протянул бедствующему рассказчику чуток серо-лунноватой жидкости на дне чекушки. Тот не мог сдержать благодарных рыданий и так и затрясся от них. Затем поставил на землю посуду и вылакал из горла, ни разу не застучав об него зубами, спасительный, возможно, глоток.

— Спасибо, товарищ... я не останусь в долгу... не тот человек... то, что вы сейчас сделали, товарищ, это — будущее Запада, за которое ему еще долго придется бороться и бороться с атомизированным индивидуализмом, — заявил рассказчик. Занюхав глоток рукавом, он вновь нагнулся за авоськой, поудобней взялся и продолжал: — Откупиться не удастся, господа и мистеры. Планете нужны душевные слова, а не деньги, понимаешь, которые не пахнут... Сижу в кафешке, — кафешки там, надо объективно сказать, приспособлены к интимно-внутренним душеизлияниям любой отверженной личности — сижу, поддаю и прикидываю, как следует поступить с презрительной милостыней надменных буржуа?... А вдруг это — грубейшая провокация с целью дальнейшей компрометации нашей страны в обезьяньих глазах третьего мира?... Версию откидываю, потому что американцы — весьма наивные люди. Они не могут поступить так, как мы поступим в аналогичной ситуации, скажем, с работником ихнего посольства, валяющимся с похмелья в сортире на площади Восстания. Мы бы не рублей в его карманы напихали, а, например, антисоветских прокламаций, портативных Библий, Талмудов с фотографиями Папы или даже секретных чертежей. Показываем этого алкаша по программе «Время» на всю страну... Вот он — в сортире, обоссанный, как кутенок... вот — на шмоне в отделении... вот — в вырезвители, среди советских людей, говорящих ему: «Почему Рейган хочет уничтожить СССР звездной войной?... А?... Руки прочь от Никарагуа!..» Да я бы за такую акцию снова выездным стал и даже медалишку схлопотал с премией... Мы бы этой акцией лишний раз по Сахарову вдарили с Щаранским, чтобы диссидентская шобла попритихла и не мешала нам наводить порядок на международной арене... Мы бы, одним словом, не зевнули с посольским американцем... Беру еще разок дабл-скотча — извините, дабл-скотчу — и соглашаюсь со следующей версией: провокация устроена нашими. Слежку я чуял за собой с первого дня прибытия в Штаты. Не раз прорабатывался на партсобраниях за благодушное отношение к буржуазной массовой культуре и за попытку пристроить к телику канал «Плейбоя»... По нему можно всю ночь смотреть все натуральное в смысле тел и положений... Ну, естественно, представитель Верхней Волты, обезьяна проклятая, пожаловался Генеральному секретарю ООН, что я два раза проспал. Не принес им, видите ли, когда обсуждали жалобу на Израиль, коктейлей... Спасало меня не раз то, что я являлся родственником домработницы Леонида Ильича. Мы все пошли по выездной линии... Благодаря такому родству наши позиции в ООН сильные были, как никогда. Вот, думаю, мечтают использовать, падлы,

момент, чтобы нас заменить своими выездными. Хватит, мол, вам — бровастые выкормыши — гулять по буфету. Дайте и нам доллар покусать да пожить по-человечески вдали от Родины... Явно, решаю, провокация... Свои же и набили карман деньгами, то есть валютой, и надеются, что зажму ее, как какой-нибудь ничтожный Евтушенко... выездная шлюха, понимаешь... Не тут-то было, мистер Добрынин и господин Трояновский... нас на мякине не проведешь... мы все нынче жеваные-пережеванные международной напряженностью и продовольственной программой... Но я принимаю не простое решение, а соломоново, на что, кстати, сионисты всегда были большие мастера. Я решаю возратить в нашу казну всего двадцать два доллара, а пропитые не возвращать категорически. С какой это, скажите мне, стати я должен оплачивать все расходы по вашей провокации своими кровными «зелеными»? Да провалитесь вы все пропадом. Я и так отстегиваю вам львиную долю своей валюты на оплату шпионов и террористов, а сам вынужден даже день рождения вдали от Родины натягивать ради экономии штопаный гондон на праздничный стол... Короче говоря, поправился я славно. Очень славно. Не пытался больше разговаривать ни с кем. Игнорировал даже беседу двух каких-то бывших советских прохиндеев. Рожи бородатые у них вдали от Родины были весьма похабны. И похожи, поверьте, на лобки скорее, а не на гражданские лица. У одного — толстого — на распаренный в бане вполне добродушный бабий лобок, а у другого — на серовато-унылый лобок моргового трупа, с увядшей уже волосней и завистливым ко всему живому выражением непонятно откуда взывшихся глазок.

Все же уходить в ООН было мне уже пора, да и вывели наконец душу мою из себя оба этих лобка. Они, видите ли, что-то тискали в соавторстве. Не выдержал я молчания и, проходя мимо, с небрежным презрением, то есть с тонкой подъебкой замечаю: «Ну что, получеловеки, все бумагу изводите?» Тоже — ледяное молчание в ответ, словно сговорились все в этом городе воротить рыла от целого советского человека... Может, думаю, бойкот нам суровый наконец объявлен за подлости на международной арене? Самолеты сбиваем с гамбургерами и хот-догами, в смысле с Макдональдами, а Эфиопию, наоборот, доводим до полной ленинградской блокады... Доигрались в светоч прогресса, равенства и братства... От ледяного молчания эмигрантишек — холод в душе. Но я продолжаю тонко подъебывать. Демонстративно закуривают оба, глядят на меня в упор и как бы пытаются молчанием — распаренный банный лобок и чахлый морговый... Просто изводят нахально... На Родине я уж давно врезал бы каждому кружкой пива промеж рог...

— Вот и врезал бы, поддержал бы честь родимого хоккея, — перебил кто-то рассказчика.

Тот после паузы рассудительно возразил:

— Я бы, конечно, врезал и на чужбине, но экономически было это весьма невыгодно. Они, может, только того и ждали, чтоб получить кружкой промеж рог и подать с ходу на меня в суд за моральный ущерб. И все — я в заднице. Международный скандал. Добрынин арестовывает мой ничтожный счет. Вышибают из партии. Лишают дипломатической неприкосновенности и отгружают, я подчеркнул, не отправляют, а именно отгружают на Родину. Хорошо еще, если в приличном гробу, что маловероятно, но скорей всего в урне, потому что прах советского человека гораздо экономичней перевозить с одного конца света на другой, чем его прибарахленное тело. Прах вообще можно перевозить бесплатно в дипбагаже или даже в дамской сумочке, раз уж на то пошло дело. Чего валюту на пустяки разбазаривать?.. Но как представил я, товарищи, что два эти лобка получают от нашей Родины компенсацию за получение пивной кружкой промеж рог и за циничные оскорбления личности, как представил, что получают они, ничего такого не совершив в жизни приличного и даже не в состоянии самостоятельно, в одиночку сочинять антисоветчину, и живут всю остальную жизнь на проценты с капитала, то скрипнул зубами, забывшись, и взвыл от боли в побитой скуле. Взвыл и молча, но выразительно вышел. Это я умею... Направляюсь для решительного объяснения с Трояновским. Прихожу в ООН. Там идет заседание. Снова почему-то обсуждают жалобу на Израиль. Буфет полон миллиардеров из нефтяного Арабистана. Они выходят из зала пить кока-колу, когда посол Израйля убедительно откалякивается от мирового антисемитизма. Подсаживаюсь в баре к какому-то шейху, который аж шуршит весь с ног до головы нефтедолларами, наливаю ему в фужер пивка и говорю, что пора бы не драть за бензин с простого человека доброй воли столько же, сколько дерете с адвокатов, зубных техников, продавцов очков и пиццы. Мы ведь в одном с вами антиссионистском лагере состоим защиты мира от Белого дома, господ... Шейх — ни слова. Очередное ледяное молчание. Говорить мне было ужасно больно из-за скулы, но я выступил, однако, с откровенностью постоянного члена Совета Безопасности... Молчание... И тут меня вдруг взорвало. Хлопаю еще дубла-скатчу, то есть дабла-скотча — и как ебну ни с того ни с сего фужером по мраморной стойке и, пальцем вода перед носом шейха, говорю: «Я тебе тут, брюхо, нефтью набитое, не делегат Израйля! Ты мне тут, сука, заговор молчания не устраивай в стенах ООН... тут тебе не сортир на Гранд-Сентрал, понимаете... Хули ты молчишь, многоженец?»

Улыбнулся засранец, но молчит. Потягивать продолжает из соломинки напиток сытых. А я продолжаю бушевать, поскольку абсолютно уверен, что уж нефтяной шейх — не советский эмигрантишка и не станет выканючивать у делегации СССР в ООН какой-то несчастный миллион за моральный ущерб. Наоборот, я — чего уж теперь скрывать — как бы сам бессознательно напрашиваюсь, чтобы выдали мне по мордасам пару разочков, да с оттяжкой, да со смазкой сопатки снизу вверх и в глаз с запеком синяка... Пусть держится до Большого жури...

Шейх и не станет ждать суда. Он вынет тебе наличными пару миллионов, а цену за баррель поднимет на один цент — и все в порядке, а я, отдав Родине положенные проценты, живу себе чин чинарем и еще орден «Дружба народов» получаю за вклад в Госбанк валюты. А ведь за лишний миллион мы можем купить у американо-советского патриота всю «звездную войну» и чертежи новых подводных гигантов...

Послушали меня шейхи с улыбочками, выбрали свои бабские затем подолы, надвинули на лбы черные шины от детских колясок и поспешили в зал на гневную отповедь Трояновского делегату Израиля... Я же в баре закемарил, товарищи, потому что трудно и невыносимо нам с вами годами находиться среди чуждых кругов Запада и Востока... Вывел меня из отдыха член делегации Болгарии, который шестеркой был у Трояновского с Добрыниным. «Шагом марш! Сам вызывает в постоянно-членскую... На цирлах!...»

Являюсь и хочу доложить о провокации в вокзальном сортире, но Трояновский высокомерно орет на меня: «Чем от вас пахнет в ООН?... Вы что? В хлеву валялись?.. Покровителя своего поминаете?.. Вас уже ничто не спасет... Высылаетесь немедленно на Родину!..» До меня что-то не дошло с ходу, что Леонид Ильич наконец скончался. Но я рад разговору с собою даже в таких резких административных формах. Кто из нас, скажите, не трепетал послушною душою при бешеных выговорах начальства? Никто... То есть трепетали, трепещем и будем трепетать... Однако, потрепетав и насладившись русской речью, я логически возразил, что, во-первых, Родина — не ссылка, а во-вторых, я имею честь с самого утра находиться под юрисдикцией Генерального секретаря ООН и обслуживаю чаем с коктейлями постоянные жалобы на Израиль... у меня не такой иммунитет, как у вас, но и я могу просить защиты у флага Организации... в этом месте выразительно икакю... вот вам семь долларов, найденные мною в кармане смокинга, то есть пиджака, при весьма двусмысленных обстоятельствах... Еще что-то я там наговорил, а Трояновский все старался встать под вентиляцию, чтобы до его, видите ли, тонкого, постоянно-членского

нюха не долетала сортирная вонища, в которой — согласитесь, товарищи, — трудно было не вывозиться вдали от Родины... И тут дошло до меня вдруг, что Леня... отец родной... покровитель верных вассалов... Замечаю, что член Белоруссии вешает на портрет Леонида Ильича черные ленты, а член Украины чему-то злорадно ухмыляется, так и жаждет, чтобы вся Россия поскорей передохла от продовольственной программы, сволочь...

Стоит ли говорить, как я был вывезен из Нью-Йорка методами, давно отвергнутыми людьми порядочными? Не стоит. Тем более подходит наша очередь. Я был усыплен и тайно вывезен на Кубу, где пробыл две недели в братском тропическом дурдоме. Затем — Москва. Встреча с семьей. Крушение карьеры...

Я призываю протестовать, если эта мразь-приемщик вновь заставит вынимать пробки и счищать сургуч с горлышек плодового-ягодного. Хватит, товарищи. Ведь какие-то все же права должны у нас быть в природе?..

Никто ничего не успел ответить рассказчику, хотя, например, у меня лично вопросов к нему накопилась целая куча с маленькой, как говорится, авоськой. Никто ни о чем не успел расспросить его, потому что совершенно неожиданно для нас всех после громкого хлопка разом вспыхнули все подсобники приемного пункта, горы наполненных пустую посуду ящиков, готовая к приему бутылкок тара и прочая бытовая мусорюга, только и жаждущая какого-нибудь языка пламени, чтобы загореться наконец и перейти в иное, долгожданное состояние вещества...

Началось нечто невообразимое. Очередь, неведомым каким-то образом поняв, что ее больше не существует, превратилась в явление более неорганизованное и, соответственно, менее неприличное — в толпу. Ясно было, что жизнь людям дороже сдачи посуды, хотя сдается таковая именно для продолжения жизни, для предупреждения всеобщего к ней охлаждения. Приемный пункт весь был объят вонючим, угарным пламенем и дымом, отдающим керосином с бензином, спиртовым и сивушным осадком, а также сладковатой бормотью разогретых портвешков вкупе с хлебным, баннным запашком вскипевшего в трескающихся бутылках пивка... Толпа замороженно следила за животной панической возней, которая происходила на подвальной лестнице. Самые первые, даже из тех, кто успел уже сдать свою надежду приемщику, безумно стремились стать последними. Из подвального помещения, из жуткого зияния его доносились до нас вопли старающихся выбраться на улицу быстрее ближнего, доносился рык какой-то, хрипы, бабий визг, лязг давимой посуды, может быть, режущей уже ноги, упавшие тела и лица всех поверженных наземь, всех бесчеловечно подмятых более

сильными и обезумевшими паникерами. Паникерами, потому что огонь и не проник бы, очевидно, в подвал с улицы, хотя...

Мелькнувшую в мозгу моему догадку утвердил Паша, шепнувший мне следующее: «Шоферишка поджег... он тут мельтешил, пока мы внимали сдуру выездному... явно все полито бензином... месть за свистнутые саночки с посудой... Убедись лишний раз, что насильственные методы — бред собачий и удар по невинным людям... Что нам теперь делать? Новую очередь выстаивать? Новый пункт искать?»

Пожалуй, только мы с Пашей были удручены в ту минуту внезапными унылыми обстоятельствами этого злосчастного утра и возвращением нашим в отвратину безнадежного социального уныния. Впрочем, возможно, это всего лишь казалось, что только мы с Пашей пребываем в очеловеченном как бы то ни было состоянии, тогда как со стороны все мы могли бы произвести на постороннего наблюдателя впечатление странного многоликого животного, опьяневшего, одуревшего от пламени, клубов дыма и утробного рычания всех рвавшихся на выход из подвала, — животного, которое не покинуло еще счастливое удивление, что оно — животное — не там, в каше смятения, кровищи, взаимного подминания и острой, битой посуды, а здесь — на постылом, на тоскливом и унылом, но безопасном холоде поверхности земли.

Все вырывавшиеся из подвала пункта не оставались во дворе, не присоединялись, не прилипали к толпе везунчиков-соглядатаев, но с выпученными от пережитого глазами, со ртами, искривленными гримасою рыдания и обоих видов удушья — кислородного и душевного, скрывались куда-то прочь.

Ни один человек из стоявших в толпе даже и не подумал броситься на помощь к находившимся еще в подвале, даже и виду не подал притворного, что случается иногда в людском общежитии: «Вот, мол, я готов, всегда пожалуйста, протянуть руку гнущему, но технически не могу этого сделать, все подходы отрезаны, кое-кого следует судить за нарушение правил противопожарной безопасности...»

Молчание нашей животной толпы нарушил невыездной рассказчик. Он сказал, что наблюдал однажды в Штатах за пожаром в диско-клубе. Диско-клуб объят был наполовину пламенем, а люди продолжали танцевать, поскольку недушевленная запись громоподобной бурды прокручивалась себе и прокручивалась. Ничего не зная о пожаре, танцующие, соответственно, выламывались и топтались, будучи полностью как бы оглушены скрежетом звуков, и, возможно, так бы и занялись пламечком с ног до головы, если бы кто-то не вырубил света и грохота. После этого мгновенно началось хаотическое спасение жизней и эксцессы почище данного

безобразия. Рассказчик добавил, что лично Добрынин лишил его за хождение в диско-клуб дипломатического иммунитета на две недели условно. «Донос Петрович сутки у нас работает, а двое суток стучит», — добавил он со знанием дела.

Тут же взвыла наконец сирена пожарной команды. Нас разогнали брандспойтами и чистенькими, протертыми машинным маслом топориками. Пожар ничего не стоило притушить. Многие сразу бросились вытаскивать из бесформенной груды тары чудом уцелевшую закопченную винную посуду.

Кто-то из пожарных, безусловно, обученных воздействовать водой на всегда готовые к беспорядкам людские толпы, направил струю в подвал. Оттуда начали выскакать несколько побыстрей, чем раньше, вымоченные, стучащие зубами, но воодушевленные спасением бедолаги. Холодина пожарной воды, между прочим, мгновенно выводила очумелых граждан из шока и даже сообщала им чувство некоторой бесшабашной веселости, происходящей в таких вот условиях, как мне кажется, от вечного духа сопричастности человеческой души к победе доброй водной стихии над зловредной огненной. Ясно было, что всем им начхать на посуду, погибшую в подвале, и чуялось, что многие готовы сейчас на нечто героическое и даже преступное для отпразднования спасения от огня и растаптывания...

Еще через какое-то время прибыла «скорая помощь». Из подвала начали вытаскивать поломанных и порезанных битой посудой несчастных. Вид их был ужасен. Каждый, проходя к карете или же лежа на носилках, сокрушенно повторял: «Это — не люди... не люди... не люди», — как бы давая понять, что и сам он, если бы не ушибы и раны, не имел бы права быть причисленным к человеческому роду...

После «скорой» примчалась милиция — ОБХСС. Главный среди сотрудников цинично и громко произнес: «Все же ушел Кадыков от ревизии. Смудрил, сволочь... Всем разойтись. Свидетелям поджога остаться на месте для снятия показаний...»

К счастью, смертельных жертв в тот день оказалось мало. Сотрудники и санитары вытащили из подвала всего двух бездыханных человек. Одним из них был приемщик Кадыков — человек редчайше говнистого нрава с явно садистическими наклонностями, которого давно уже следовало как-либо уморить, не дожидаясь стихийного случая, за все его измывательства и изгиления над бесправными людьми, сдающими стеклотару.

Когда вынесли второго погибшего, толпа зашумела: «Ленин... Ленина уделало... Ленин загнулся...»

Мы подошли к телу того, кого все именовали Лениным. Подошли, но тут же были отогнаны Главным. Однако я успел рассмотреть

лицо погибшего. Это был Картавый. Внешнего сходства у него с Лениным было не больше, чем у Ленина с Чарльзом Дарвином, чтобы не сказать с Марксом. Как он попал в самую гущу давки, когда стоял в очереди позади нас с Пашей, останется загадкой новейшей советской истории.

Дружок его, с фингалом под глазом, выдаваемым за отечный мешок в подглазье, как в воду канул. Скорей всего, оба они пробрались в подвал без очереди, чтобы как-то расправиться с саночками того оскорбленного мужичишки и с его посудой, после чего он и пустил, мерзавец, «петуха»...

Месть, подумал я, не может быть вполне благородной, если под разящее ее копые попадают посторонние и оказываются вдруг, как мы с моим другом Пашей, в пустыне общественной жизни, с глазу на глаз с равнодушным к чаяниям граждан государством.

Мы поспешили удалиться, проклиная гору вчерашней посуды, поразительную редкость и несовершенство работы приемных пунктов, а также глубоко въевшийся в уши, в мозг, во все поры наших существ мелкопакостный звон пустой стеклянной дряни. Поспешили удалиться потому еще, что Главный приказал своим ментам замести по мелкому хулиганству, переходящему с похмелья в антисоветскую агитацию, всех тех, которые называли Лениным опустившегося до жалкой гибели алкаша. Он также приказал обшмонать оставшихся на предмет обнаружения всей пропавшей кассы с деньгами растоптанного Кадыкова. Кассу, как мы поняли, кто-то успел стырить...

Покидая место брани, иначе его и не назовешь, обратил я внимание на выражение лица бывшего выездного. Лицо его было каким-то остолбенело задумчивым от всего только что происшедшего и от неостывшего еще воспоминания о драме пребывания вдали от Родины. Кроме того, была в лице его явная и почти невыносимая ненависть к самому себе, которая появляется в человеке при окончательном нежелании прощения какой-либо существенной, судьбоносной ошибки своей отвратительной личности.

Все же в человеке этом, к несчастью своему взглянувшем однажды на родные исторические пространства с противоположной части Земли, трепетала еще каким-то образом жизнь, а следовательно, и горячая надежда пристроить в ином немыслимом пункте всю эту отянувшую сердце пустую посуду. Он начал уже движение к нему...

Надрываясь под тяжестью четырех баулов с бутылками, мы потащились к знакомой продавщице, чтобы сдать ей их все к чертовой матери хотя бы за полцены вместе с баулами и кожей измоленных ладоней...

Тащились и всю дорогу болезненно молчали. Мой друг Паша, так же как я, с инфантильным самозабвением представлял себя на месте человека, не потерявшего голову в панический момент народного бедствия, но моментально разобравшегося в рискованной обстановке, перехватившего каким-то героическим, разбойным образом все денежки то ли из кассы, то ли уже из кармана обезумевшего Кадыкова, затем достойно отстранившегося от ужасной каши тел, а теперь вот, безусловно, подходящего уже к шашлычной, подходящего к ней с алчущим аппетитом жизни, с гордым трепетом всех душевных и телесных сил, с укором к себе за преждевременное утреннее отчаяние, с верою в конечную добропорядочность капризной Судьбы и с возрожденным, быть может, навсегда в воспрянувшем сердце чувством восторженного удивления перед таинственным поведением счастливого случая... Сейчас вот он сядет за свежий столик, с чистейшим вдохновением взглянет в знакомое до слез меню, передавая зачуханным его листочкам последнюю дрожь похмельных конечностей, поразит мизантропную фигуру официантки неслышанно солидным заказом и небрежно авансированными чаевыми, через пару минут уймёт рюмашкой коньячку сердечный стук, а заодно и непослушность разлаженных пальчиков, уймёт для пущей надежности и сходу — ещё разок, многотрудно крякнет, помянет про себя нелепо погибшего Ленина, ухмыльнется при этом во всю свою жизнерадостную рожу и примется в ожидании шашлычка за сациви из цыплят, смачно шибяющее в носоглотку запашком кавказских провинций нашей необъятной, но непостижимо бездарной Империи.